



Ю. В. КЛЮЧНИКОВ

Смена вех

<Фрагменты>

<...>

Большевиком не назовешь, конечно, Милюкова¹. Но зато разве он был характерен для русской интеллигенции в ее массе, разве он не занимал среди нее совершенно индивидуального места? Когда он методически внушал «научиться правильно наблюдать и делать выводы самому», потому что таков совет «научно-образованного, стоящего на высоте цивилизации своего века европейца-интеллигента» многие ли из русских интеллигентов чувствовали в нем выразителя любимейших своих дум? Да и то, кто еще знает? — если Милюков не был «большевиком» раньше, не становится ли он им незаметно для себя теперь. Настоящие строки писались в момент, когда он вел ожесточенную борьбу со своими друзьями по партии за так называемую «новую тактику». Имевшие возможность вблизи наблюдать эту борьбу должны были только диву даваться: что с ним стало? Откуда эта решительность? Откуда столько готовности рубить с плеча, произносить слова, воспринимаемые окружающими, как «удары бича по сердцу» (Ф. И. Родичев²)? Со страстной убежденностью он заявляет, что его новая тактика принята единогласно, а затем на него сыплются воистину единогласные заявления, что это неверно. Когда он остается в меньшинстве, он отказывается подчиниться большинству, называет большинство «врагами» и готовится окапываться против них в Советании членов Учредительного собрания. И почему все это? Потому что «по условиям момента» кадетизму нужна как можно более левая программа. Остается ждать, насколько «моменты» заставят его по-леветь еще и еще. И до каких пор? Напомню на всякий случай, что в момент Кронштадтского восстания П. Н. Милюков договорился

уже до признания Советов; тех самых, что действуют теперь, лишь бы они не возглавлялись большевиками. Да, да; остается только ждать, остается только ждать. И недаром вся эта новая тактика кое-кем из знающих Милюкова воспринимается лишь как очередной его эволюционный этап. Изменится обстановка, и он так же обоснованно, как все, что он делает, с превосходными ссылками на «опыт Запада», сделает еще несколько шагов вперед. И да будет мне позволено обратить внимание на обычный характер аргументации кадетского лидера. Чаще всего вы слышите от него именно этот аргумент: «Прежде было так, и потому мы думали этак; теперь обстоятельства изменились, и мы должны думать иначе». Политик обязан считаться с обстоятельствами, это совершенно очевидно. Но нельзя же, чтобы в порядке приспособления к текущим обстоятельствам — как нечто вполне нормальное — производились неимоверно быстрые и резкие переходы от одной тактики к другой, от программы к программе, и к другой, и к третьей, и к четвертой. Тем менее допустимо, конечно, чтобы в порядке все того же приспособления к обстоятельствам и под видом изменений в тактике производились радикальные изменения политического мировоззрения. Между тем именно такие радикальные изменения были незамедлительно произведены Милюковым в его душе, едва только по условиям момента ему захотелось сесть в Париже на rue de la Pompe³ рядом с Авксентьевым⁴ и Керенским⁵. Сесть рядом с ними можно было лишь при условии признания будущей России республиканскою, федеративною и в договорном порядке устанавливающею свои взаимоотношения с бывшими своими окраинами. *И вот всецело потому только, что этого требует момент*, П. Н. Милюков становится республиканцем, федералистом, сторонником принципа самоопределения народностей. А когда ему предлагают высказаться по поводу заветов революции, что облекает он в одежды таких заветов? Основные пункты временного своего соглашения с эсерами на rue de la Pompe. Разумеется, это не большевизм в общепринятом теперь чувствовании этого слова. Но это, несомненно, большевизм в его наиболее расширенном понимании, представленном «Вехами». А еще точнее: это отражение типичного русского интеллигентского нигилизма в смысле отсутствия абсолютных критериев, в смысле отсутствия для человека «заказанных путей».

И что всего замечательнее, именно в этом-то П. Н. Милюков и является наиболее верным самому себе, именно в этом-то он и остался «неизменным, что бы ни случилось». Многие жестоко обвиняют Милюкова за отсутствие устойчивости, кое-кто (особенно в среде

новых его друзей) называет его даже оппортунистом. Мы не из тех, что в какой бы то ни было мере разделяли бы подобные обвинения. Мы убеждены, что среди всех колебаний, отказов и перемен, переходов от тактики к тактике и от программы к программе в П. Н. Милюкове неизменными и твердыми остаются конечные его идеалы и глубочайшие внутренние импульсы: благо России, культ демократизма, служение прогрессу.

Пусть верность конечным идеалам и основным импульсам вместе с другими его неоспоримыми качествами — тонким умом, широкой образованностью, громадным политическим опытом, умением быть лидером, составляют главнейшие достоинства П. Н. Милюкова. Пусть его эластичность, способность к эволюции и к приспособлению суть его недостатки. Нелегко усмотреть, какую пользу принесли Милюкову во время революции перечисленные его достоинства. Зато если ему суждено сыграть в ближайшем будущем достойную его положительную роль, то виной тому будут прежде всего его «недостатки». Но не показывает ли это лишний раз, что именно «большевистское» в русском интеллигентском характере больше всего полезно во время революции и России и самой революции. Впрочем, об этом позже.

Не принято называть большевиками и людей типа Авксентьева и Керенского. Однако в том условном смысле, в каком мы оперируем с этим термином, в данную минуту многие, наверное, не откажутся признать их хотя бы «очень близкими к большевикам». Стало уже трафаретом утверждать, что в период своего управления Россией Керенский сделал все, чтобы передать свои полномочия из своих рук в руки своих врагов. Не добровольно, конечно, а в силу того, что за большевизмом Керенского логически должен был утверждаться большевизм Ленина⁶. Мне нет надобности указывать на конкретные проявления идейного и практического экстремизма водителей партии социалистов-революционеров. Но одну их черту я не могу не отметить в интересах моей темы. Повсюду в России, в Петрограде и в Москве, в Самаре, в Казани, в Уфе, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке, а позже и за границей — в Праге, в Париже — повсюду и в течение всей революции они неизменно выступали с одними и теми же лозунгами, с одними и теми же политическими приемами. Это для меня — большевизм упрямого политического однодумства, почти маниакального долбления в одну точку, что бы ни случилось и к чему бы это ни привело. Честь им и хвала за постоянство и настойчивость. Но давно пора бы им заметить, что *именно их лозунги и их тактика менее всего пригодны*

для революции. С их помощью нельзя ни автоматически управлять массами, ни увлекать их, ни подчинять. При их господстве не может быть ни революции, ни контрреволюции, ни тем более искомого ими среднего. Сплошное ни то ни се. Какие-то Буридановы ослы в роли вершителей исторических судеб. За миг блаженства быть у власти всем им неуклонно приходилось потом расплачиваться длинными периодами скрежета зубовного на тех, кто так низко растоптал их святые желания и так глупо не дал им сделать их великого дела. По их глубочайшему убеждению, за ними была и есть вся Россия. Только они подлинные выразители воли народной. Но стоило им появиться где-нибудь, как тотчас же их сметала либо «кучка гнусных насильников» в лице большевиков, либо «кучка гнусных реакционеров» в лице казаков, офицеров, генералов, помещиков и купцов. И все-таки они ни на минуту не сомневаются, что правильно действуют только они. Чем же, в самом деле, объяснить эту поразительную настойчивость, эту завидную в клиническом отношении самодостаточность, как не особым душевным интеллигентским складом, зафиксированным «Вехами»? Тут есть все в редком изобилии — и утрированная «принципиальность», от которой не тошно только самим ее обладателям, — и самовлюбленность, не допускающая даже намек на самокритику и самоусовершенствование, — и максимализм по формуле «или мы, или никто», — и отсутствие малейшей политической дисциплины, отразившейся в ряде роковых тактических ошибок. Спешу и здесь оговориться, что, приводя указанные черты специфической эсеровской психологии (как психологии интеллигентской), я отнюдь не делаю этого в целях суда или осуждения их обладателей: создал их Бог русской истории такими, и ничего уж, видно, не поделаешь. Но всякому должно быть ясно, что пока подобный тип русского интеллигента не изжит или не побежден окончательно, не могут быть изжиты ни русская революция, ни русская контрреволюция. Непрактичные, недисциплинированные, хаотичные по натуре и по историческому воспитанию — такие, «каковы они есть», они призваны лишь поддерживать русский хаос и русское государственное разложение. Никакая черная сотня не страшна так для русского прогресса, как они, потому что сила черных сотен есть лишь отражение и отзвук их силы. Половины ужасов большевизма не было бы, если бы не их фанатические «выступления», сеющие ужасы. По идее наиболее близкие из всех русских интеллигентов к русским народным массам — это они с особенным упоением играли роль всезнающих и непререкаемых наставников масс, что оттолкнуло от интеллигенции массы. Короче: если есть

сейчас различные типы русского большевизма, из которых одни более опасны, а другие менее опасны, то — безусловно — пресный эсеровский большевизм есть самый опасный из всех. С ним, — а быть может, и только с ним одним, — должна вести сейчас борьбу вся Россия, поскольку она хочет и должна остаться Россией.

Менее всего большевик в психологическом смысле слова такой законченный и уравновешенный европеец, как покойный Г. В. Плеханов⁷. Как известно, не являлся он большевиком и в программном отношении. А между тем вот что он высказывал на Брюссельском съезде Российской социал-демократической рабочей партии в 1903 году: «Каждый данный демократический принцип должен быть рассматриваем не сам по себе в своей отвлеченности, а в его отношении к тому принципу, который может быть назван основным принципом демократии: *salus populi suprema lex*⁸. В переводе на язык революционера это значит, что успех революции — высший закон. И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы остановиться. Как личное свое мнение я скажу, что даже на принцип всеобщего избирательного права надо смотреть с точки зрения указанного мною основного принципа демократии. Гипотетически мыслим случай, когда мы, социал-демократы, высказались бы против всеобщего избирательного права... Революционный пролетариат мог бы ограничить политические права высших классов подобно тому, как высшие классы ограничивали когда-то его политические права. О пригодности такой меры можно было бы судить лишь с точки зрения правила *salus reolutiae suprema lex*⁹. И на эту же точку зрения мы должны были бы стать и в вопросе о продолжительности парламентов. Если бы в порыве революционного энтузиазма народ выбрал очень хороший парламент, то нам следовало бы стремиться сделать его долгим парламентом; а если бы выборы оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, через две недели».

Великая русская революция не забыла этих слов одного из виднейших своих предтеч. Ленин не напрасно считает Плеханова в числе своих предтеч. Быть истинным революционером и вместе не быть экстремистом в русских условиях нельзя, и потому *даже Плеханов* был одной стороной своего существования последовательным экстремистом, т. е. — по нашей условной терминологии — большевиком.

А вот что еще гораздо примечательнее. Те самые семь авторов сборника «Вех», которые с таким сожалением или с таким негодо-

ванием констатировали большевистскую натуру русской интеллигенции, в конечном итоге сами менее всего чужды большевистского духа. Они призывают к смирению, но это — то самое смирение, что паче всякой гордости. Они требуют возврата русской интеллигенции к религиозному мироощущению, отказываясь признать за религиозную ту интуицию, которая у нее есть. Однако все, что им удалось доказать, — это то, что атеистическая религиозность русской интеллигенции резко отличается от христианской, от церковной религиозности, но вовсе не то, что в ней вовсе нет никаких подлинных элементов религиозности. Пожалуй, здесь даже вполне допустим и уместен следующего рода софизм: при том минимуме религиозности, которая отпущена на долю русского интеллигента, он все-таки типичный политический сектант, экстремист, большевик. Чем больше у него было бы религиозности, тем больше он становился бы в политике сектантом и большевиком в нашем значении слова. Авторы «Вех» очень религиозны и хотят, чтобы все были, как они. Следовательно, психологических элементов большевизма в них не меньше, а больше, чем в других русских интеллигентах. Так оно и есть в действительности. Недаром в нашем политическом словаре наряду с термином «красного большевизма» утвердился термин «белого большевизма». Белый большевизм пришел в русскую жизнь из «Вех», как красный из «Искры»¹⁰ и из «Вперед»¹¹. В чем разница между тем и другим большевизмами? Только *в их направлении и в окраске*, а отнюдь *не в напряжении, не в тоне* их максимализма, той их прямолинейности и самоупоенности, той готовности на жертвы и привычки требовать жертв, — наконец, того безразличия ко всему относительному и промежуточному, что составляет самую их душу. Не побоюсь сказать: исключительно этим изнанковым большевизмом можно объяснить себе тот факт, что Струве¹², утонченный культурно и этически, — Струве, упоенный Богом, величием государственной идеи и гордым национальным пафосом, мог вдруг оказаться идеологом крымской эпопеи 1920 года. <...>

<...> Какому широкому «универсальному и национальному» идеалу решили они посвятить свое служение. Нет, что хотите, — может быть, мне лично не удалось показать это с достаточной наглядностью и убедительностью, — но это большевизм, это типичный русский интеллигентский большевизм, проявляющийся в самых разнообразных формах и окрасках.

От Струве, говорилось иногда, один шаг до Пуришкевича. Замечательно, что если бы мы сделали этот шаг, то и тогда мы на-

толкнулись бы на ту же интеллигентскую психологию, которую не назовешь иначе как большевистской.

В «Современных записках» Н. Д. Авксентьев делится одним своим воспоминанием о Пуришкевиче за время совместного их сидения в Петропавловской крепости в декабре 1917 года¹³. Ожидалось заключение «позорного» и «похабного» Брестского мира.

«Но в это время, — рассказывает Авксентьев, — Троцкий сделал свои “beau geste”¹⁴, прервал переговоры в Бресте и явился в Петроград проповедовать войну против Германии. Большевистская пресса была полна воинственного пыла. Заявлялось о непреклонном решении отстаивать “красный” Петроград и “красную” Россию. Нам в тюрьму газеты доставлялись. И вот в одно утро — с газетами и какими-то бумажками в руках — ко мне влетел возбужденный, взбудораженный Пуришкевич¹⁵. Он прочел об этом «решении» большевиков и пришел предложить составить и подписать заявление. “Заявим, — говорил он, — что если так, мы готовы идти делать что угодно. Пошлют на передовые позиции бороться с завоевателем — пойдем. Заставят быть братьями милосердия, сделают пушечным мясом — на все готовы. Пусть руководят, но пусть не слагают оружия защиты”»¹⁶.

Не правда ли, как это по-русски, по-интеллигентски и... «по-большевистски»? Какой контраст с самим Н. Д. Авксентьевым, который в ответ на пламенный порыв воистину безудержного патриота только и мог заявить, что «не верит всей этой большевистской шумихе» и что «наше положение было деликатное и всякое такое движение с нашей стороны могло быть истолковано как желание прежде всего выбраться из тюрьмы». По счастью, он прибавляет все же, что в тот момент «руководитель черной сотни психологически был ближе» ему, чем самые радикальные политики, которые в борьбе с большевизмом уничтожают самый смысл этой борьбы, которые интересам борьбы с большевизмом жертвуют интересами России¹⁷.

VI

Согласимся на этом: «Вехи» совершенно правы, характеризуя русскую интеллигенцию как по натуре максималистскую, нигилистическую, революционную или — по-современному — как большевистскую. Во время революции обнаружилась, следовательно, не борьба психологических антитез и антиподов — большевизма и антибольшевизма, а борьба разных типов и разных окрасок в лоне одного и того же интеллигентского большевизма. Среди пестрого

состава русских интеллигентов-большевиков революция выбрала для своих сражений и побед тех, которые ей оказались наиболее подходящими. В процессе революции произошло, все еще незаметное для нашего сознания, разделение русских интеллигентов на большевиков, угадавших веления революции и потому «торжествующих» вместе с нею и на неугадавших их и потому страдающих, ноющих, клеветующих, запутавшихся во лжи и противоречиях. Вся сплошь приемлющая революцию и воспитанная для нее русская интеллигенция распалась на два громадных лагеря и вступила в братоубийственную борьбу из-за разного понимания требований революции и ее возможностей. Борьба эта прекратится, и лагеря сольются, когда случится одно из двух: или когда угадавшие веления революции получат с ее помощью столько силы, что принудят подчиниться себе даже наиболее упорных своих врагов; или же — второй случай — когда побежденные в революции русские интеллигенты поймут неправильность своего пути. Отсюда вот один из самых важных политических тезисов, которые во что бы то ни стало обязана осознать русская интеллигенция в России и в изгнании: *объединить русскую интеллигенцию, сделать из нее единую и мощную социальную силу способна только восторжествовавшая революция*. Напротив, если бы революция не победила, если бы все вернулось в России к тем условиям, которые создавали русский интеллигентский разброд и многоликий русский интеллигентский большевизм, если бы над Россией снова повисла необходимость еще и еще одной революции, — тогда неизбежно интеллигенция осталась бы такою же, как была, т. е. столько же полезной России, сколько и вредной ей. Нет; даже больше, пожалуй: раз она была создана специально для революции, раз она вела ее и проиграла и только вдребезги разрушила Россию, то, значит, она только вредна, и в будущей России ей не должно быть места. Фактически обе возможности, по-видимому, осуществляют себя сейчас одновременно и параллельно: угадавшие и побеждают неугадавших, и примиряют их с собой.

Под торжествующей революцией следует подразумевать ту, которая продолжается теперь и которая раскрыла всю ширь русских революционных потенций и русских революционных желаний. Иначе получилось бы не признание революции, а отрицание ее, не вхождение в нее в новых для нее целях, а сохранение изжитой цели борьбы с нею.

Русская революция страшна. Но опыт показал, что нет ничего страшного, что испугало бы или остановило русского интел-

лигента. — Русская революция поставила перед собой великие задания. Но это то, что особенно делает ее русской, а отчасти интеллигентскою-русскою. — Вхождение в нее требует тяжелых жертв и героического самоотречения. Но русский интеллигент только и живет, что жертвами и самоотречением. — Своей программы русская революция не очертила точно; она может достичь и очень многого, и очень малого, смотря по обстоятельствам. Тем более: — каждый должен, значит, добросовестно стремиться к тому, чтобы результаты как можно полнее оправдали понесенные во время революции жертвы, а если выйдет не много, а мало, то такова уж, очевидно, судьба, и *незачем вообще бороться с революцией ради скромных идеалов, раз она сама волей-неволей ограничится скромными достижениями.*

Замечательно, что те из русских интеллигентов, которые упорно отказываются признать в себе большевистскую природу, гордятся своим званием русского интеллигента. Для них в этом звании заключается противопоставление их ненавистному для них мещанству. С одной стороны, они правы. Как превосходно проследил г. Иванов-Разумник¹⁸, интеллигент и мещанин (подразумевается мещанин духа) во всех отношениях противоположны друг другу. Но они глубоко не правы, думая, что можно отделить сколько-нибудь резкой чертой интеллигента от большевика. Такой черты, мы уже отчасти показали это, не найти, сколько не ищи. Однако если не по самому своему существу — по самой своей *идее* — всякий интеллигент в той или иной степени является большевиком, то основной вопрос настоящей статьи об обязанностях русской интеллигенции в отношении революции с данного пункта начинает требовать значительно иной формулировки. Он превращается в вопрос об обязанностях русской интеллигенции в отношении к самой себе или — что то же самое — о *самоопределении интеллигентского большевизма через революцию.*

На эту последнюю формулировку нашего вопроса да будет позволено обратить усиленное внимание. В ней сами собой находят свое выражение и отражение все главнейшие контраверзы не только философии русской революции, но и философии новейшей русской истории в ее целом. Более же конкретно вопрос об отношении интеллигенции к революции сводится к следующему: — *пока существует такая русская интеллигенция, какова она сейчас, революция в России не может быть изжита.* Изжить русскую революцию — значит изжить прошлую и современную русскую интеллигенцию. Но вместе с тем *тщетно пытаться изжить русскую интеллиген-*

цию, не удовлетворив предварительно всех главнейших требований русской революции, не проделав полного ее пути.

Таким образом, русская интеллигенция и русская революция как-то совершенно нерасторжимо, едва ли не мистически, связаны друг с другом. Именно это мы и имели выше в виду, утверждая в развитие мысли Булгакова, что всякая русская революция непременно должна оказаться интеллигентской. Всякая русская революция — скажем мы теперь — непременно должна оказаться интеллигентской в том смысле, что в ней, единственным доступным неисторическим условиям путем и при посредстве испытаннейших своих служителей в лице интеллигентов, ищет полностью осуществиться в мире пылкий и своеобразный русский разум, русский интеллект. Нельзя бороться за Россию и ее великое мировое место, не будучи вместе с русской интеллигенцией и русской революцией. Кто не хочет быть с русской интеллигенцией и русской революцией, тот враг и России, и мировому прогрессу. Кто борется мечом или хитростями с русской революцией, не имея ничего одинакового или лучшего противопоставить ей взамен, тот лишь вольно или невольно готовит ужасы мировой революции, которая, при спокойном торжестве революционной России, легко вылилась бы в мирную и безболезненную эволюцию. Жестоко и несправедливо заподозривать противосоветскую русскую интеллигенцию в сознательном стремлении вредить своей родине и во вражде к мировому прогрессу. Очевидно, причина ее оппозиции совершающемуся в России *исключительно в непонимании* ею истинного своего долга. Жертвенная, она проглядела, какая жертва от нее требуется. Жаждущая великого, она испугалась мерок и путей великого.

<...>

Поскольку подобной проповедью Струве способствовал перевоспитанию русского общества, он был прав и полезен. Но как только наступила вторая русская революция, так силою вещей он превратился в обманщика. Невольного, — но все же обманщика.

В жизни целого нашего народа случилось то, что случается так часто в жизни отдельных лиц. Богатую барышню отдают в институт и обучают пению, танцам и изящным манерам на радость будущему богатому жениху. Но вдруг родители барышни умирают, институт брошен, вместо богатого — в мужьях сельский учитель, вместо пения и танцев — кухня, стирка и работа на огороде. Бедной женщине и так тяжело, а тут еще письмо из столицы от бывшего наставника: «Вы созданы для красоты, бросьте эту пошлую жизнь...» Сейчас Струве в отношении к России представляется мне как раз таким

наставником. Он упорно не хочет понять, что самим фактом новой революции, как смертью, одна полоса русской жизни оборвана и другая, совершенно новая, начата. Прощайте грезы о балах, приходится приниматься за труд. И вся задача отныне в том, чтобы труд послужил источником не несчастья, а счастья. Но если бы только в этом одном непонимании заключалась вина Струве пред революционной Россией. К несчастью и для него самого, и для всего русского консерватизма, и для всей России, вина его неизмеримо крупнее. Вместе с остальными авторами «Вех» он с полной отчетливостью уяснил себе невыгодность и опасность неудавшейся, половинчатой революции. В таком случае его прямой долг был по возникновении второй революции помочь ей не остаться половинчатой, обеспечить ей успех. За каждый ее лозунг должен был бы хвататься он, и чем шире и абстрактнее лозунг, тем крепче держаться за него. Крупный экономист, человек точных цифр и вычислений, как он не сопоставил в своем уме: первая революция, не стоившая и тысячной доли тех жертв, что вторая, и все-таки довольно много давшая, очень многим морально подрезала крылья. Из них же первый он сам почувствовал в качестве автора «Вех», что *великий народ не может безнаказанно нести тяжесть жертв неискупленных*, что ему невыразимо мучительно от их сознания. Так как же должен страдать этот великий народ после неисчислимых жертв теперешнего лихолетия, если ценою их он не достигнет великих всеоправдывающих результатов! Хватит ли у него в дальнейшем моральных сил снести бремя собственного осуждения и осуждения других народов? Способен ли он будет дальше жить в ясном сознании, что он преступник, негодяй, идиот, разрушивший все, не будучи ни пьяным, ни одержимым, и взамен... ничего! решительно ничего!!! Невольно или нарочно? — но над этой стороной вопроса о срыве революции все вообще избегают задумываться. У приверженцев идеи борьбы с Лениным до конца и во что бы то ни стало откуда-то берется уверенность, что русский народ, обесчестив, умертвив и затем разрезав на куски мертвое тело матери своей России, спокойно утрет пот с лица и примется за очередные дела, как будто ничего не случилось. Если это можно назвать исторической концепцией, то я не знаю концепции более жуткой. Приходится думать, что она просто не понята — как и многое теперь — своими собственными приверженцами.

Нет, пусть знает каждый, что нам теперь другого выбора нет: или все мы, русские, взятые вместе, преступники, или мы делаем великое дело. Мы — преступники, если просто растлеваем и умерщвляем нашу страдалицу-родину, чтобы вернуться к старому или

получить на копейчку нового. Мы велики, если благодаря нашим жертвам восторгается гений революции. После ужасов революции неизбежно наступит период счастья, нас охватит творческий подъем — мы ясными глазами сможем глядеть в будущее. После ужасов преступления... надо же хоть немного знать народ русский: *он не способен будет вынести ужасов собственного преступления!* Он никогда не найдет в себе сил для морального самовоскрешения. Его личная и всемирно-историческая жизнь тогда кончена навсегда. И представить себе только: этого не понимал и не понимает тот самый Струве, который так живо чувствует «мистику государства» или мистику национального духа и который так любит говорить о них. Ах, поменьше бы мистики всякого рода и побольше здорового чувства действительности! Поменьше бы разговоров о религии и идеалах и побольше подлинной интуитивной религиозности, живого ощущения идеала. Иначе — за виною накапливается вина, за обвинением обвинение. Иначе полный сумбур...

К Струве, как представителю «Вех», с полным правом можно было бы обратиться приблизительно со следующей речью:

— Вас возмущает отсутствие смирения в русских интеллигентах и их любовь лезть в спасители России. <...>

Короче говоря, революция преодолела все преграды, уверенно и властно вошла в русскую жизнь и накрепко утвердилась в ней. Удалось ей это как раз потому, что она не послушалась либералов и всех близких к ним по программе и по темпераменту, а повела большую игру и поставила перед собой большие цели. Русского крестьянина и рабочего соблазнило не то, что он получит в собственность лишние пять десятин земли, и не то, что он сам себе выдаст патент на умеренность и аккуратность в законно избранном Учредительном Собрании. Его соблазнила мысль пострадать за рабочих и крестьян, за униженных и оскорбленных всего мира. Чисто по-русски — «пострадать». Он ничего не понимал, когда ему говорили: воюй с немцем лично ради себя. Он не верил, когда его призывали все взять себе ради его собственной выгоды. Но он поверил и взялся за оружие, когда ему сказали, что он призван убить зло в мире и насадить в нем вечную справедливость. Воистину все изменилось в России с революцией. Все элементы старой жизни исчезли или вошли в неразложимое соединение с элементами новыми, выдвинутыми зараз и прошлым, и настоящим, и будущим России. Раздвинулись совершенно новые масштабы. И вот после всего этого цвет русской интеллигенции, мозг страны — русские либералы — все еще знай себе сверлят маленьким сверлом в на-

дежде высверлить хорошенькую маленькую дырку. И все еще не замечают, что перед ними не скала романовского полуабсолютизма, а громадный кратер от страшного революционного взрыва, что жалкое их сверло болтается в воздухе и что вот-вот кратер поглотит и их самих! Белокаменная Москва с ее сороками сороков — столица третьего Интернационала. Русский патриарх — авторитет для западных коммунистов. Еврей-эмигрант Троцкий — глава и кумир самой сильной — и не менее христоролюбивой, чем прежде, — армии в мире. А тут, в наших эмигрантских либеральных кругах, все еще мучаются над вопросом, что лучше для России: конституционная монархия или республика? И какая республика, американского или французского типа? И хорошо ли, что Милюков сел рядом с Авксентьевым или это очень, очень дурно с его стороны и Россия никогда ему этого не простит?

П. Н. Милюков первый заметил опасность, пред которой очутилась его партия. Он первый почувствовал, что еще немного и весь ее моральный кредит, все ее воистину прекрасное прошлое окажется бессильным спасти ее от грозного приговора истории, от вечных насмешек потомства. И вот он дерзнул заявить, что теперь вместо монархии он за республику, вместо унитарной России за Россию федеративную, вместо того, чтобы держать за шиворот окраины, он протягивает к ним спую руку для дружеского приветствия. С помощью Кронштадтского восстания (увы, восстания все же) он дошел и до признания Советов. Он уже теперь «без кавычек» говорит о «заветах революции», хотя и думает, что революция совершенно выявила себя и исчерпала к ноябрю 1917 года. После, я абсолютно уверен в этом, он дойдет и до ясного усвоения смысла новейших революционных заветов. Если он всегда запаздывает и отстает, то у него есть на это уважительная причина: его партия двигается по пути уяснения происходящего еще медленнее, чем он, и он каждую минуту рискует совершенно отколоться от нее. Однако мы уже отмечали, что П. Н. Милюков способен и на решительные жесты. Пусть же он обратит внимание, что то, что «очень много» в его теперешнем поведении для него самого, то бесконечно мало по сравнению с истинными требованиями момента. Пусть он оглянется на своих соратников: больше половины их отказались следовать за ним и он сам ушел от них. Ну а где новые? Кто к нему примкнул за это время и кто может примкнуть к нему? Пока он тратит всю свою энергию, чтобы усидеть сразу на трех или четырех стульях и согласовать пять или шесть несогласимых резолюций, молодые поколения русских либералов, которые воспитались на нем, но для которых

не прошло даром и воспитание революции, — начинают все более и более смотреть на него как на чужого. Его тактическое искусство им уже не импонирует — им теперь не до тактических тонкостей. В его гибкости они усматривают проявление того «нигилизма», о котором говорилось выше и который пора уже изжить. В итоге четырех с половиной лет революции закрепилось уже многое, чему можно и должно служить во имя постепенного и мирного эволюционного прогресса. Обязанность всякого либерализма двигать прогресс именно таким образом. До революции русский либерализм мог служить маленьким целям, потому что большие были недостижимы. Теперь обязательны даже не большие цели, а великие. Понятия эволюции, демократии и прогресса могут и должны быть расширены настолько, насколько это поддерживается революцией и не грозит ей крахом. А главное: либерализм никогда не плетется в хвосте прогресса; он ведет его. Поэтому если бы в конце концов П. Н. Милюков дошел даже до коммунизма и стал проповедовать мировую революцию и зачислился в Красную армию для борьбы с Польшей, но все это с запозданием, т. е. когда уже другие требования для творчества прогресса, то все равно молодой русский либерализм не согласился бы видеть в нем больше своего вождя. Таким образом, вопрос приятия или неприятия всей русской революции есть «быть или не быть» для последующего русского либерализма. Только приняв ее, он сгладит все те черты, которые отталкивали от него многих в прошлом: эластичность, граничащую с оппортунизмом, отсутствие достаточно широкого кругозора и недостаточную настойчивость в отстаивании своих идеалов. Можно даже утверждать, что, *передельвая все, великая русская революция впервые оказывается способной открыть пути для яркого и могучего русского либерализма, как после нее же впервые становится возможен прогрессивный и устойчивый русский консерватизм.*

В заключение несколько слов об умеренно революционных партиях. Их вина пред революцией особенно тяжка. Созданные в предреволюционной обстановке и рассчитанные лишь на революционную борьбу, а не на революционное творчество, все они оказались бессильны уловить пульс революции. Они торопили ее, когда скорее нужно было ее удерживать; они принялись удерживать ее, когда уже было поздно и когда ей стало не до них. Они были уверены, что уставчики и программочки, выработанные на досуге до революции, буква в букву начнут осуществляться во время революции. Каждая партия была уверена, что именно теперь-то и пришло ее время, и ревниво стала бороться за господство с бли-

жайшими по духу партиями. Их вожди почему-то решили, что раз они вожди партий, то — значит — они и вожди народа. Заметив, что революция отвертывается от них, они обиделись на нее, и очень во многом в последующей борьбе их с нею проявилась одна лишь мелкая личная обида. Испуганные тем, что революция все более и более устремляется влево, они машинально бросились вправо и очутились в радостных объятиях своих недавних противников: промышленников, помещиков, генералов. Одним, как Бурцеву¹⁹ и Алексинскому²⁰, новая компания пришлась вполне по душе, и теперь они еще и не всякого генерала подпустят к себе. Другие то и дело разыгрывают сценки и трюки из старинных водевилей: поцелуются и тут же плюнут, — опять поцелуются и опять плюнут. А ведь все-таки целуются. К тому же все виднейшие революционеры успели побывать министрами, и это на них тоже сказалось: они удивительно обуржуазились и обюрократились. Если даже они отказываются иметь дело с помещиками и генералами, то это потому, что у них есть ходы к самому Бриану²¹ и даже к самому Мильерану²². Куда ни шло еще, если бы только они обуржуазились персонально. Почему, в самом деле, другие могут собираться в отличных помещениях, а они не могут? Почему не печатать им своих резолюций на роскошной веленовой бумаге и на трех языках? Но гораздо печальнее для них то, что их программы давным-давно потеряли всякий революционный привкус и превратились в одно из многих революционных недоразумений. В области внутренних политических отношений они как революционную новость выдают заветы конца 18-го века, в области международной политики они горой стоят за принцип самоопределения народностей, тоже уже не из молодых, достаточно затрепанный по всем министерским канцеляриям и наглядно проявивший свою историческую реакционность (вне очень серьезных коррективов). Страннее же всего то, что умеренные революционеры, о которых речь, органически неспособны понять *международный и мировой смысл* русской революции и настойчиво поощряют международную реакцию, в которой, разумеется, первая захлебнется — если не устоит — страдальца Россия. Таким образом, перед умеренными революционерами сейчас три выхода: или они примирятся с революцией и подчинятся ей — тогда они снова станут революционерами; или они превратятся в главную опору реакции, как Бурцев, Алексинский и Савинков²³; или же они так и останутся пожизненными Буридановыми ослами, мотающими головой из стороны в сторону от сена контрреволюционного к сену слишком революционному. И в первом, и во втором, и в третьем

случае им нет места в будущей России как самостоятельному политическому типу. Их песня спета еще 27 октября 1917 года. Эхо этой песни слышалось, правда, и позже, но вольно же было нам принимать эхо за самую песню. Остается надеяться, что природная внутренняя честность наших умеренных революционеров в отношении к своему революционному долгу поможет им в конце концов выбрать первый из отмеченных путей. Если они не захотят сделать этого ради торжества непонятой ими революции, то пусть сделают ради ее преодоления. В последнем итоге то и другое совпадает.

VI

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию».

Так указал Александр Блок²⁴. Он в числе тех, кто понял и русскую интеллигенцию, и русский народ, и русскую революцию. <...>

«Русские художники имели достаточно “предчувствий и предвестий” для того, чтобы ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались, что — Россия большой корабль, которому суждено большое плавание. Они, как и народная душа, их вспоившая, никогда не отличались расчетливостью, умеренностью, аккуратностью: “Все, все, что гибелью грозит” таило для них “неизъяснимы наслаждения” (Пушкин). Чувство неблагополучия, незнание о завтрашнем дне сопровождало их повсюду. Для них, как для народа, в его самых глубоких мечтах, было *все или ничего*. Они знали, что только о прекрасном стоит думать, хотя “прекрасное трудно”, как учил Платон».

В приведенных словах ярко обрисована душа интеллигента-большевика в узком смысле слова. В них — историческое и логическое объяснение современного русского большевизма. В них — его историческое *оправдание*. Все вело в России к революции и к большевизму. Революция и большевизм для России одно: без революции большевики лишь кучка «фанатиков» и «бандитов»; — без большевиков революция лишь переворот, бунт, погром, анархия без прорыва в будущее и без надежд на будущее. Пока не было революции, правы были те, кто призывал бороться с прирожденным русским революционным экстремизмом: его дело страшное и его методы жестоки; лучше бы обойтись без них! Пока в начале революции была еще надежда остановить революционный разлив, во имя более экономного перехода в будущее, во имя сохранения человеческих жизней, во имя любви к материальной культуре, — нельзя было

не стремиться укротить революцию (чтобы вместо нее и как-то по-иному, но сделать ее же дело). Но революция идет и идет. Растет. Ширится. Углубляется.

Тут уж началось непонятное:

Во имя немедленного свержения большевиков с ними ведут борьбу годами. — Во имя сбережения человеческих жизней людей бросают сотнями тысяч на белые фронты, в концентрационные беженские лагеря, обрекают на голод, на преступления, на проституцию, превращают в спекулянтов, неврастеников, бездельников. — Во имя преодоления экстремизма сами превращаются в экстремистов, но наизнанку, что еще хуже: белый экстремизм — это озверелое желание, чтобы от революции остались одни только разрушения и чтобы ценою их решительно ничего не было создано. — Во имя сбережения материальных богатств России взрывают мосты, разрушают города под предлогом: «Вредим большевикам». — В целях сохранения уважения к прежним основам русского политического и социального бытия делают все, чтобы над ними повисли иступленные проклятия отчаявшихся.

И вот допустите, что революционная власть насильственно свергнута. Поехали в Россию Авксентьев, Алексинский, Бурцев, Гучков²⁵, Керенский, Милюков, Савинков, Струве. Каким-то чудом они сумели не перессориться снова и снова, а мирно выработать долгожданную «общую линию». Эта общая линия мне представляется в виде Учредительного Собрания на основе прямого, равного и прочая, возглавляемого каким-нибудь генералом — Врангелем²⁶ или другим. Наступает период строительства новой России. Выстроили и сошли с жизненной сцены удовлетворенные: в России монархия по типу английской или республика по типу Соединенных Штатов. Чего же лучше? Однако беда вся в том, что когда мы будем копировать Англию или Америку как образцы политического благоустройства, и Англия и Америка будут упорно бороться за то, чтобы стать совсем другими. Когда мы будем думать, что наступила эра успокоения, зачнется в ужасах эра нового всемирного смятения. Идеалы великой русской революции окажутся насильственно приглушенными, но они, конечно, не умрут. Их будут провозглашать, ими будут жить по-прежнему и русские революционные массы, и иностранные. «Жалкие остатки» русской интеллигенции вдруг почувствуют, что только в них свое, русское, большое и выстраданное. И тогда-то впервые они полюбят эти идеалы, как не любили еще никогда, и тем сильнее полюбят, чем более жестоко они их обманули перед тем.

А после «непонятое» будет все нагнетаться и нагнетаться в грядущей русской жизни: придушенные нашими призрачными либералами и революционерами, истинно революционные идеалы сделаются главным двигателем всей последующей истории русского духа и русского политического бытия. Новые поколения начнут спрашивать себя и своих отцов, что же получилось? Чем велик Авксентьев, которому воздвигли памятник Алексинский и Бурцев? Чем велик Гучков, позаботившийся о памятниках для Керенского и Милюкова? Чем велики Савинков и Струве, остатки сил положившие на сооружение пышного мавзолея для Алексинского, Бурцева и Гучкова? И без особенного труда они подведут грустный итог: не будь их, в России не было бы стольких разрушений в 1917–1921 годах; стало быть, главные виновники русской разрухи они. Не будь их, Россия не плелась бы снова в хвосте остальных стран; стало быть, это они же испортили международное положение России. Не будь их, прорыв в будущем был бы великим. Социальные неравенства были бы более сглажены, политическое устройство вышло бы более совершенным, внешние отношения покоились бы на более справедливых основаниях. С России брали бы пример все остальные народы, у нее учились бы, ей завидовали бы. Теперь ее попросту считают дурой, бездарностью, мотовкой. Словом, они — и они одни — виновны в самом тяжком из всех политических преступлений: в лишении своего народа права быть гордым или, что то же, в убийстве народной души.

Но Бог даст, мрачного чуда не случится. Бурцев с Авксентьевым, а Милюков с Гучковым не столкнутся никогда. Значит, не будет в России ни монархии английского типа, ни республики типа Соединенных Штатов. Будет что-то свое, выстраданное и выкованное революцией. Памятников или вовсе никому не поставят, или поставят их Ленину. И тогда-то станет впервые ясно, что вся русская интеллигенция жила и работала в качестве революционной силы для того только, чтобы создать, испытать и закалить Ленина, чтобы сначала чрез него дать настоящую русскую революцию, а потом чрез него же навсегда или надолго преодолеть ее.

В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает себя. После него она или вовсе перестанет существовать, или станет совершенно новою. Последнее — вернее. Ленин — это та цена, которою куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция. Вот если бы его не было, то еще вопрос, не выродилась ли бы она, эта русская интеллигенция, в ближайшем же поколении в мелкодушных мещан, в антиподов интеллигенции. Напротив, раз Ленин *был*, вел революцию как ее признанный вождь и дал ей

победы — превращение интеллигенции в мещанство становится исторически невозможным.

Но еще более невозможно и то, чтобы за одним Лениным последовали другие. Нет, отныне надолго или навсегда покончено со всяким революционным экстремизмом, со всяким большевизмом и в «широком», и в «узком» смысле. За отсутствием почвы для него. За ненужностью. Завершился длиннейший революционный период русской истории. В дальнейшем открывается период быстрого и мощного эволюционного прогресса. Ненавидящие революцию могут радоваться; но, радуясь, они должны все же отдать должное революции: только она сама сумела сделать себя ненужной.

Будущая русская интеллигенция, вышедшая из горнила великой революции, наверное, будет такою, какою ее отчасти видели, отчасти хотели бы видеть авторы «Вех». Только все отрицательное в ней, что раньше проистекало из ее революционного назначения, впредь не будет давать себя знать, исчезнет, сгладится. Философский кругозор ее будет широк, т. к. революция научит ее исключительной смелости мысли и откроет пред нею пути касания самых сокровенных глубин бытия и небытия. В процессе философского самоуглубления в русской интеллигенции впервые выработается единая и прочная «научная традиция», покоящаяся на новом сознании и на смирении. Интеллигенция уже не захочет больше искусственно заменять народ или принудительно навязывать ему свои воззрения и потому станет скромной. Она войдет в народ неотъемлемой частью, и уже ни о каком ее отщепенстве не может быть потом и речи. В ней просто сосредоточится богоискательство русского народа — то самое, которое в ней проявлялось и раньше, но которое порою шло дурными, уродливыми путями. И, наверное, это богоискательство будет чисто русским, т. е. таким, в котором наметятся пути примирения абсолютных требований духа с относительностью условий жизни на земле. Быть может, тогда впервые будет понята русскими людьми абсолютная ценность относительного, и во всяком случае — яснее почувствована очень и очень относительная ценность абсолютных критериев. Конкретно это выразится в том, что русская интеллигенция уловит начала *мистического* в государстве, проникнется «мистикой государства». Тогда из «негосударственной и антигосударственной» она сделается государственной и чрез ее посредство государство — Русское Государство — наконец-то станет тем, чем оно должно быть: «путем Божиим на земле». Совершенно несомненно, что и в будущем русская интеллигенция не сделается однодумной; в ней никогда не сольются воедино разные течения идей.

В области идей чисто политических консерватизм, либерализм и революционизм, неизбежные во всякой социальной жизни как три основных типа политического творчества, обязательно разобьют русскую интеллигенцию на три лагеря. Но это уже не будут лагеря озверелых врагов. Это будут лагеря трех армий, разными путями идущих на общего врага: на грехи и бедствия социальной жизни. Таким образом, интеллигенция окажется нужной будущей России как *сила мощного социального прогресса в прочном социальном мире*. Нужная России, она явится нужной и всем остальным народам в их борьбе против губящего их мещанства духа и в их стремлении к социальной справедливости.

Прибавлять ли, что такая русская интеллигенция имеет все права на существование и что, только став такою, она в состоянии оправдать свои прошлые грехи? Повторять ли, что единственный путь для этого — естественное завершение революции, без срывов, без тинистой контрреволюции? Русская интеллигенция постепенно начинает понимать это. Скоро, наверное, поймет вполне. И теперь вопрос только в том: совершится ли приятие нами революции раньше, чем в борьбе с нею волны анархии временно захлестнут Россию, или же *для приятия революции* нам суждено пройти через период новых ужасов?

Неужели суждено?..

